«Последний поклон» В.П. Астафьева и основы крестьянского мира

В.В. Зверев

Василий Васильевич Зверев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт российской истории Российской академии наук. 117292 Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19. E-mail: v.v.zverev@bk.ru

В эссе в качестве исторического источника существования крестьянского мира анализируется повесть В.П. Астафьева «Последний поклон». Рассматриваются такие базовые категории жизнедеятельности, как традиционная семья, родственные связи, труд, воспитание подрастающего поколения, отношение к природе, понятия стыда, совести, долга. На основе литературно-художественного материала автор приходит к выводу о том, что крестьянское мировоззрение формировалось в результате тесного взаимодействия с природой, которое диктовало бережное отношение к окружающей среде: лесу, полю, реке, животному миру, вырабатывало такие качества, как умеренность в потреблении природных ресурсов, рачительность, предусмотрительность, заботу о будущем. Знание, понимание природы сказывались и на характере труда, который не преследовал задачи обогащения, а был направлен на обеспечение достатка семьи. Сельский житель в России, как и во всем мире, не был стяжателем, а его общественным идеалом был трудолюбивый и трезвый крестьянин-середняк. На выработку и сохранение этих качеств были ориентированы система воспитания и социальное устройство деревни (община). Общинная организация в первую очередь была призвана не допустить возникновения и катастрофических последствий таких бед, как неурожай, голод, наводнение, пожар. Многовековая история жизни в природе и с природой культивировала взаимопомощь, взаимоподдержку, призрение больных, убогих, пострадавших. Автор приходит к выводу, что такое мироустройство являлось фундаментом, на котором строилось в прошлом единство социума, влиявшее в свою очередь на силу и мощь российского государства.

Ключевые слова: крестьянин и город, феномен «деревенщиков», традиционная семья, человек и природная среда, родственные связи, труд, стыд, совесть, долг, русская община, детство и деревенская улица

DOI: 10.22394/2500-1809-2020-5-4-142-161

(Не)нужное обоснование

У великой русской литературы, подобно высокой горной гряде, много недосягаемых творческих вершин. Имена гениев приводят в восторг и трепет: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и многие, многие другие... Однако мощь и величие творца проявляются по-разному, своеобычно и своенравно. За кем-то признание закрепляется сразу и навсегда, кого-то не за-

мечают современники и «открывают» потомки. Кто-то «вплетен» в современность, кто-то опережает ее, а кто-то поднимается над ней. Всякое бывает. Многое проверяет время и многое проверяется временем. Ну а в помощь ему всегда существуют служители литературы — критики и литературоведы, которые объяснят непонятое, растолкуют значимое, укажут на великое. В противном случае чем еще может быть оправдано существование их профессии? Соревноваться с ними на этом поприще историкам — занятие неблагодарное и заранее проигрышное. К тому же интересуют в литературном творчестве историков, в отличие от их коллег по гуманитарному цеху, как правило, иные вопросы, которые они и стремятся задать неподатливому и своенравному художественному тексту.

Тем не менее любой текст принадлежит к категории письменного источника, который в той или иной мере характеризует написавшего его автора, эпоху, в которой он жил, проблемы, которые его волновали. Творец запечатлевается во времени, как и время формирует творца. Вечный и противоречивый процесс взаимодействия объекта и субъекта прошлого, противостояния желаемого и возможного, реального и вымышленного. Здесь всегда важна тема, которая единит историка и литератора, заставляет через художественное осмысление выйти на вопросы, подталкивающие к изучению, может быть, и не прямыми совпадениями точек зрения, а эмоциональным откликом на созданный образ, сопереживанием и сочувствием к прочитанному.

Такие размышления одолевали автора статьи при попытке обоснования пресловутой актуальности обращения к творчеству В.П. Астафьева. Должен признаться, что желание пойти на риск подобного эксперимента преследовало меня давно, и я делал даже кое-какие наброски. Но недоставало общей идеи, которая могла бы объединить разрозненные наблюдения, в чем-то, может, и правильные, но не складывавшиеся в единую картину. Так продолжалось до тех пор, пока не пришло ощущение необходимости рассмотреть повесть «Последний поклон» в качестве источника, характеризующего основы крестьянского мира, да и крестьянства в целом.

Сразу же оговорюсь, что это произведение для меня — любимое в творчестве Виктора Петровича. Нисколько не преуменьшая значимости таких работ, как «Пастух и пастушка», «Царь-рыба» и другие, «Последний поклон» «взял в полон» целиком и сразу своей незащищенной откровенностью, исповедальностью, тысячей мелочей сельского быта, которые были знакомы с детства и мне, тоже выросшему на селе, правда, в совершенно других местах и вдалеке от малой родины писателя.

Был еще один важный момент, который я, прочтя «Последний поклон» во второй половине 1970-х годов, и не вполне понимал, но который в дальнейшем становился все более важным — осознание связанности с прошлым своего рода, необходимости понять те скрепы, которые соединяли предков в единую общность под названием народ,

определяли его жизнь, нравственные нормы поведения, характер труда, отношение к власти. Наверное, это можно назвать модным сегодня выражением «генетическая память», но проще и вернее — пониманием принадлежности к крестьянскому миру, определявшему жизнь и существование страны на протяжении веков. Россия всегда держалось мужиком, в мирные годы растившим хлеб и воспитывавшим ее будущее — детей, а в военное лихолетье — «боронившим» людей от нагрянувшего супостата ценой собственной жизни.

Думается, подобные мысли были свойственны многим в семидесятые годы прошлого века, эпоху так называемого «застоя». Обращение к собственным корням искали в сочинениях Ф.А. Абрамова, В.И. Белова, В.Г. Распутина и В.П. Астафьева, авторов, получивших далеко не точное и весьма уязвимое наименование «деревенщики».

Феномен «деревенщиков»

Живейший интерес читателей к их творчеству, на мой взгляд, был предопределен многими причинами. Можно, конечно, по давней научной традиции разделить их на объективные и субъективные, но думается, что применительно к литературному творчеству такой подход вряд ли позволит достигнуть искомый результат. В данном вопросе требуется оперировать несколько иными категориями, затрагивающими мировидение подавляющей части страны. Тем не менее некоторые моменты представляются вполне очевидными и не требующими особых доказательств.

Переход России на индустриальную стадию развития выбросил в город гигантское количество сельских жителей. В начале 1960-х годов процент городского населения впервые стал превышать численность сельчан. Город — шумный, торопливый, взвинченный и нервный — поглотил эту массу, даже не заметив присущего вновь прибывшим душевного настроя и не дав им времени для приспособления к новым условиям. А слом так ненавидимого записными марксистами «идиотизма деревенской жизни», с корнем вырывавший людей из традиционного быта, был отнюдь не безобидным. Менялось все — от ритма труда и существования до межличностных и семейных отношений, родственных связей, моральных устоев. И хотя удару городской стихии подверглась наиболее молодая, а значит, и самая мобильная часть населения с достаточно гибкой психикой, удар этот был жесток и коварен.

В город стремились уйти по-разному и с разными целями. Кто-то гнался за длинным рублем и сладкой жизнью (были и такие). Кто-то хотел вырваться из беспросветного колхозно-совхозного существования. Кто-то уезжал на учебу и оседал «на постоянное место жительства». Но у всех, хотя признавались в этом далеко не все, саднило чувство затерянности и потерянности в городских просторах одиночества. Правда, «на выручку» приходил хорошо

апробированный способ «компанейства», который, как все лекарства, был горьким и не всегда полезным. В малых количествах потребление традиционного русского напитка еще играло роль компенсатора непринужденного сельского бытия. А в больших — завей горе веревочкой — корежило, калечило психику, и порой работящим, честным парням не хватало жизни, чтобы понять простую истину, издавна известную русскому мужику: пьянство — это не выход, а вход в жизненный тупик.

Деревня не отпускала. Даже если новая жизнь и переставала казаться чужой, она была иной. Оставалась тяга к земле, тяга к оставленным близким, требовался «выплеск» нерастраченных сил, ненужных новым условиям существования умений и навыков. По складу характера страна по-прежнему оставалась крестьянской. Менялся уклад жизни, но не психология. Многоэтажная среда обитания станет привычной только для следующего поколения, детей выходцев из деревни.

А новоиспеченные городские жители, напротив, пытались вырваться «на волю» из духоты бетонных однотипных построек. «Отдушиной» для мужчин становились и пресловутые шесть соток, и коротание вечеров с такими же сотоварищами-автолюбителями, и другие «заменители» житейской активности. Женская половина могла часами общаться по телефону, имитируя сельские посиделки на завалинках весенним или летним вечером (этим способом активно, кстати, пользуется современное телевидение, тиражируя разные ток-шоу). Но, откровенно говоря, все это слабо компенсировало утраченное. Пустота заполнялась и ностальгией — воспоминанием о несостоявшемся счастье.

В ностальгии всегда присутствует идеализация. Вспоминается не реальность, а идеал, лучшие черты прошлого, которые становятся основой эталона, в котором запечатлевается и тоска по ушедшему детству, юности, и воспоминания о родных, близких, и осознание вины за прегрешения перед ними, за вольные и невольные обиды, — многое, подернутое романтической поволокой ушедшего. Немаловажно и то, что в прошлом пытались найти жизненную опору, соотнести моральные ценности, закрепленные в памяти, с реалиями современности. И от этого сравнения новые жизненные устои вряд ли выигрывали.

Думается, что внутренняя неустроенность, растерянность и потерянность бывших деревенских жителей как раз и перекликалась с миром литературным, созданным писателем, таким же сельчанином по рождению. Его произведения, бывшие одновременно и плодом фантазии, и реконструкцией минувшего, подкреплялись и усиливались при чтении собственными житейскими наблюдениями и приобретенным опытом.

Правда, для установления «вольтовой дуги» взаимопонимания между писателем и читателем одной ностальгии еще недостаточно. Конечно, любовь и свет, идущие из прошлого, согревают. Но для

того, чтобы каждый находил только ему созвучное и близкое в литературном сочинении, чтобы написанные слова вступали в резонанс с душевным настроем, необходим масштаб личности и талант автора. Немало зависит и от избранной формы повествования.

Форма и содержание. Наиболее приемлемый способ общения — рассказ. Но этот жанр далеко не прост. Стиль и интонация общения от первого лица сближают. Литературная реальность воспринимается как свидетельство прошлого, как беллетризированное воспоминание. В рассказе нет хитросплетений нескольких сюжетных линий романа. Читатель не сомневается в достоверности («такое могло случиться и со мной»). А это порождает доверительность, которая только крепнет при искренности повествования. Чтение такого рассказа сродни неторопливой беседе со старым товарищем, где и не нужно много слов, все понимается через ассоциации, прочитанная фраза находит продолжение. Читатель будто становится соавтором. Но, не дай бог, хотя бы немного оступиться и сбиться на занудливую назидательность, натужную субъективность или выпячивание собственной персоны. Такое не прощается.

Астафьев прекрасно понимал сложности рассказа, и рассказ стал его излюбленной формой повествования. Собственно, и «Последний поклон» — это повесть, состоящая из отдельных рассказов. Они дополняют друг друга, полнятся событиями из жизни одних и тех же героев, к которым добавляются новые лица, но связанные родством, соседством, знакомством, что и характерно для каждодневного существования сельского жителя.

Да и само *понимание писательского ремесла* у Астафьева сродни тяжелой мужицкой работе — до пота, до боли в хребтине, каждодневная, изнуряющая, без претензии на красивость, броскость, вычурность. Это понимание труда сравнимо с разговорным «пахать», «горбатиться». Астафьев сознательно избегал возвышенных определений «творчество», «созидание» и т.п. Писал он просто и емко, без окололитературной зауми. Его собственное осознание писательства однозначно ассоциировалось с возделыванием нивы, на которой уже трудились такие титаны, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь. Далеко не случайным было и его определение своих мелких литературных заметок — «затеси» — на манер отметин топором на деревьях в лесу.

Астафьев подчеркивал, что он приставлен к труду, который требует полной отдачи, чтобы не было стыдно за сделанное. Это труд, за которым стоит неуклонное совершенствование, корпение над словом, строкой, отделкой фразы до звона и моментального узнавания по манере письма из сотен других авторов. Только тогда ремесленник превращается в мастера.

Астафьев — писатель не современный. Не современный в том смысле, что не писал о сиюминутном, быстро преходящем, именуемом актуальным, порой превращающемся у некоторых литераторов в конъюнктурность. У Астафьева прошлое, напротив, врывалось

в современность и оставалось там не ламентациями об утерянном рае, а тихим счастьем детской любви, горечи раннего сиротства, мудрым пониманием пережитого и желанием сохранить лучшее из прошлого.

Семья

А лучшее в воспоминаниях писателя — жизнь с дедушкой и бабушкой. Рано лишившись матери, при беспутном и вечно пропадающем незнамо где отце (в действительности побывал он во многих местах, в том числе и на Беломоро-Балтийском канале), жил, подрастал и набирался ума Витя Астафьев у дедушки и бабушки с материнской стороны. И хотя напрямую нигде в «Последнем поклоне» об этом не говорится, но все содержание повести свидетельствует о том, что всем лучшим в жизни он был обязан им. Потому так проникновенно звучат его слова об ушедшем детстве: «Неужели было это “когда-то”? Деревня, русская добрая печка, связка луковиц по стенам, запах вареной картошки и закисающей капусты, с кути дух горячего хлеба, бабушка Катерина Петровна, дедушка Илья Евграфович, заимка на Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшочке, новые штаны, лохматый Шарик, кошка-семиковрижница, дядя Левонтий, деревенские, бойкие в лесу и на реке парнишки...

Где все это? Где? Если и было, то у другого какого-то человека, вруши-хохотушки, на язык бойкого, в играх и спорах заядлого...» (Астафьев, 1978: 397).

Но рисовал в повести Астафьев отнюдь не идеальную, а правильную по крестьянским понятиям семью. Хотя попервоначалу и кажется, что не могло быть более разных людей, чем дедушка и бабушка. Дед степенен, основателен, «...размеренный шаг, несуетливый, крестьянский...», «и говорит он пять или десять слов за день». Но сразу видно — хозяин, который ничего просто так без расчета не делает, у которого всякому инструменту предназначено свое место. «Дед самый надежный в этом доме человек». Знает он твердо с молодых ногтей, что криком избу не построишь, а потому «дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо» (Астафьев, 1978: 84, 49, 40, 61).

Бабушка не менее, но по-женски, хозяйственна. К тому же «... многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой болезни пользуют, доктора у нас на селе нету, так ходят к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только ей самой некогда болезни свои лечить» (Астафьев, 1978: 47).

В отличие от деда, она, напротив, речиста, с ней не поспоришь, недаром получила у ближайших родственников прозвище «генерал». В работе горяча, в жизни бывает нетерпелива и излишне требовательна. Это касалось всех — и старых, и малых. «Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже из-

лишне строго, зато имеет результат. Она и посейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери — а иные из них уже и сами деды! — не забывали, кто она и что она. “Робята” охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и гнету не испытывали, попавши под эту, как бы и невзаправдашнюю, кратковременную власть» (Астафьев, 1978: 208).

Правда, случалось это далеко не всегда. Вечное желание бабушки тревожить своими решительными действиями детей в супружестве находили и отпор. «Управившись с делами, бабушка брала батог, — писал Астафьев, — ...и следовала по селу, проведать своих многочисленных родичей, нужно где чего указать, где в дела вмешаться, кого похвалить, кого побранить. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, в третьем, глядишь, и отпушат бабушку, генералом обзовут. Часто прибывала она с причитаниями домой, клялась, что ноги ее не будет до скончания века в таком-то доме, у таких-то и таких-то дочерей и зятьев.

— Отгостевала! — бурчал дедушка» (Астафьев, 1978: 157).

Однако случалось, что под горячую руку бабушки попадал и дед. И была она в этом случае далеко не исключением, а скорее подтверждением общего правила, когда, по наблюдениям Астафьева, «...бабы и в первую очередь старухи, а от них и молодухи отставать не хотят — все чепляют, чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик это — враг кровный и всегда поперек ее дороги лежит». Хотя, с другой стороны, «...да какая ж она была бы жена, если бы не кособочилась, не позволяла себе кураж, не давала острастки мужу» (Астафьев, 1978: 211, 318).

Укоряла бабушка деда за разные прегрешения. Скажем, за отсутствие религиозного чувства. Сама-то она, искренне веровавшая, упрекала его, что «...крестится он для блезиру — перед едой, чтоб не подавиться, да перед севом и сенокосом, чтоб удача была...» (Астафьев, 1978: 154).

Но это было еще ничего, поскольку дедушка оказывался в числе многих, поддавшихся «тлетворному» атеистическому влиянию города. Неприятие бабушкой города выражалось в проклятиях и предсказаниях. «Бабушка кляла городское поветрие, стращала людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, что сказано в каком-то писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала» (Астафьев, 1978: 152).

И относился дед к этому ворчанию с чувством юмора, следующим образом комментируя «осерчалость» жены на него и на окружающий мир: «Сердилась старуха три года на мир, а мир того не заметил» (Астафьев, 1978: 155).

Но, в общем, бабушка меру знала и за грань не переходила. Особенно это касалось тех случаев, когда позволял дед себе согревающее и веселящее известное русское средство. «Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой про-

порции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку» (Астафьев, 1978: 197).

Случались, однако, и переборы в бабушкиных бдениях. «Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и труде» (Астафьев, 1978: 196). Ну что здесь скажешь? Всякое бывает в семье. На то она и семья, так сказать, ячейка общества. Да и каждый мужик знает, что даны нам жены за грехи наши. Правда, одолевает порой каверзный вопрос: где же я столько нагрешить успел?

Единили семью труд, ответственность за детей и внуков. Труд в рассказах Астафьева обязателен, каждодневен и... неприметен, как сама крестьянская жизнь: суетится ли бабушка, «по-генеральски» наводя порядок в доме, ворча на мужа, покрикивая на дочерей и сыновей, дает ли им наглядный урок при уборке хлеба, быстро связывая 2–3 снопа, мерно ли трудится дед, исполняя накопившиеся за день дела, все это — черты обязательной занятости.

Астафьев проникновенно точен в своих описаниях. Крестьяне генетически запрограммированы на труд. Они просто не могут без него существовать («скучен день до вечера, коли делать нечего»). Без труда не выжить в противостоянии с природой, возможным недородом и (не дай бог) голодом[1], без труда невозможно остаться полноценным членом крестьянского общества, невозможно остаться человеком. При этом каждый из крестьян выполняет свою работу по-своему. Кто-то трудится весело и непринужденно, будто песню поет, кто-то, напротив, — упрямо и надсадно, осознавая, что выполняет свой долг перед «обчеством», семьей и Богом.

Крестьянский труд — и обязанность, и испытание человека, и тяжелая ноша, изнуряющая его тело. Жалуется бабушка своему любимому внуку: «Надсаженная я, батюшка, изработанная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы семая была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить». А потому, сказывает она, «болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда...» (Астафьев, 1978: 79, 174).

Но только не бывает никогда труд наказанием. Как пишет Астафьев, выходило по бабушкиным рассказам так, что «...радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Дети родились — радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — ра-

1. Характерен передаваемый Астафьевым монолог бабушки: «Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: “Слава тебе Господи, слава тебе Господи! Теперь перезимуем. Картошек накопали дивно — и себе и на продажу хватит. Кольче катанки справим, самому полушубчишко бы надо. Витьке тоже чего-нито из одежонки бы прикупить. Дерет, язвило бы его, пластат все...”» (Астафьев, 1978: 177-178).

дость. Урожай на хлеб — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась — это ли не радость?» (Астафьев, 1978: 79).

И здесь не могу не сделать отступление, чтобы высказать *собственное понимание крестьянского труда*. Невозможно представить крестьянина без труда, без того, что Л.Н. Толстой называл «постоянным думаньем о земле». Для него работа на земле и с землей — необходимый элемент физического существования и семейной жизни. Жизнь, труд, семья слиты вместе и неотделимы друг от друга.

Высшее мерило достоинство мужика — исправный хозяин. Только при этом условии он уважаем среди односельчан, к его мнению прислушиваются, его умения и навыки ценятся. И все потому, что занимается он самым важным и нужным на земле делом — он хлеб растит и людей кормит. И пусть от такого труда не разбогатеешь («от сохи не будешь богат, а будешь горбат»), но без него не выживет человеческий род. От труда происходит и высшая похвала крестьянина — труженик.

Два смертных греха для сельчанина — лень и пьянство. Уродуют они человека, превращают в «палого селянина», какому нет веры и прощения, поскольку нарушается им главная заповедь[2]. Не дай бог отучиться и отлучиться от крестьянского труда, потянуться за длинным рублем. Пропащее это дело. Где легкость в труде, там

2. Не могу не высказаться об обвинениях в пресловутой лени русского крестьянина и его пьянстве. Наговор это. Долго искал, что называется, откуда «ноги растут». И, кажется, нашел. Писать о лени начали русские помещики в XVIII в., а вторили им иностранцы. Понять и тех, и других можно. Первые пытались оправдать свою бесхозяйственность и непомерные траты отсутствием радения и любви к труду своих крепостных. Дескать, плох работник, потому и доход невелик. А иноземцам был непривычен рваный ритм работы, отличный от размеренной сосредоточенности западноевропейского крестьянина. Там действительно не было такой штурмовщины при уборке зерновых («страда»), как, впрочем, не было и такого периода релаксации осенью и зимой.

Что же касается потребления горячительных напитков, то замечания об этом пестрят во всех записках иностранцев о России с ранних времен. Да чего там иностранцы, еще Владимир Святой сказал по этому поводу: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». Так что, кажется, вредная национальная привычка присуща нам с незапамятных времен. Так-то, да не так. Видели иноземцы пристрастие к алкоголю, ставшему неким молодечеством (кто кого перепьет), преимущественно у представителей русской аристократии, с которыми чаще всего и общались. А не напоить гостя допьяна по обычаю считалось неприличным. В то же время русский крестьянин мог себе позволить спиртное только по великим церковным праздникам, которых в православном календаре было не так и много. Это, конечно, не исключает того, что выпить (и скажем честно, выпить немало) русский крестьянин мог. Но непробудного пьянства, как утверждают некоторые обличители негативных русских черт, в русской деревне не было. Это претило этике труда в поле и огороде. Прав был Н.А. Некрасов, говоря о мужике: «Он до смерти работает, до полусмерти пьет».

и гибельный досуг, который ничем не заполняется. Так и не заметит человек, как выпадет из общей цепи существования или, еще хуже того, — отринет производящий труд, станет торгашом, обиралой. Тогда — пиши пропало.

Важен еще один момент в крестьянской самооценке. То, что живет человек трудом рук своих, а значит, независим и самостоятелен, по крайней мере, в хозяйственной деятельности. Он — хозяин, идеалом которого является среднее положение, середняк: «Он не беден, не богат, полна горница ребят, все по лавочкам сидят, кашу маслену едят». Хотя, сказать честно, не всегда «кашу маслену» едали, но в большинстве случаев жили ровно и дружно.

В основе середняцкого хозяйства лежала разумная достаточность. Как говаривал один сибирский крестьянин, наставляя сына, «судьба нашенска известна. Живи своим..., но и мирским умом. Честь знай, соседа не заедай. Ты так перед миром: вперед шибко не забегай, сзади не отставай, но и в середке, мил человек, не мешайся. Учись добру, худое на ум не придет, не омрачит, нутру сохнуть не даст. Человеческая натуришка, она таковска: и тут бы нам найти, и там не потерять. Ты на чужое не зарься, свое береги. Помни: честным трудом шибко-то не разбогатеешь, но сыт всегда будешь — и слава богу!» (Еремеев, 1990: 20).

Достаток (досыта), а не богатство являлось солью крестьянского труда. А само богатство воспринималось не как Божья благодать, а как испытание. Важно не только, как человек приобретает сверхтребуемое, но и как им распоряжается, помогает ли нуждающимся, заботится ли о ближних, готов ли призреть сирот и т.п. Богатых и жадных деревня, мягко говоря, не очень жаловала («Богатым черти деньги куют», «Пусти душу в ад — будешь богат»).

В такой системе ценностей есть место чести, стыду и совести.

Стыд и совесть. Не было у старых людей еще моего детства большего порицания человека, чем слова «без стыда и совести». Не было большего укора, от которого не знали, куда глаза прятать. Жгли они душу и заставляли пламенеть щеки.

Произносились эти слова тогда, когда нарушались общепринятые нормы поведения, когда переступал человек наставления и заветы. Вспоминал Астафьев в «Последнем поклоне», как попытался он однажды по наущению соседского парнишки и извечного своего соперника (и почти врага) по уличным играм Саньки обмануть бабушку и принести ей едва наполовину наполненный туесок с лесной земляникой, снизу набитый травой. Обман, естественно, был обнаружен со всеми вытекающими из этого факта последствиями: «И срамила меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую “кривую дорожку” оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уже заревел не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...» (Астафьев, 1978: 68).

И вроде бы просты и незамысловаты бабушкины наставления. Но были они наполнены жизненным опытом и проверены жизнью, а потому важны и застывали в детской памяти ее присловья навечно: «Где наглость и похабство, там подлость и рабство», «счастье пучит, беда крючит». И главное в отношениях с людьми: «Почитай людей-то, почитай! От них добро! Злодеев на свете щепотка, да и злодеи невинными детишками родились, да середь свиней расти им выпало, они свиньями и оборотились...» (Астафьев, 1978: 245, 397, 251).

Не могу в этом месте не высказать свое мнение еще об одной наряду с семьей хранительнице традиций крестьянского мира. Речь пойдет о русской общине, нелюбимом и бедном дитя русского либерализма. Нелюбимом, поскольку, хотя и признавали либералы факт ее существования, но считали, что мешала она формированию индивидуализма у «непросвещенного» крестьянина, застила ему взгляд на «прогрессивный» социум. Ну а бедное по простой причине: бедно жил крестьянин и сам в этом был виноват. Уж, казалось, чего проще — раздели землю и хозяйствуй, как хочешь, ни от кого не зависи. Но это та простота, что хуже воровства.

Община и вправду — инструмент, непригодный для интенсивного развития хозяйства, но совершенно необходимый для самосохранения, самовыживания в природе и обеспечения мира в крестьянской среде. По присловью: худой мир лучше доброй ссоры. Лучше договориться, как вести хозяйство, как делить землю на паи, чем враждовать друг с другом (а несогласных можно и приневолить), лучше оберечься от голода, чем его испытать.

Потому и перестраховывался крестьянин. Считая землю ничьей, а значит, Божьей, свято верил, что должна она принадлежать тем, кто ее обряжает (слово-то какое хорошее), и делил земельные участки по количеству работников. Делалось все это с дальним прицелом — дать жизнь новым поколениям, обеспечить спокойную старость людям преклонного возраста. Надеялись землепашцы в случае напасти сложить вместе разрозненные силы и помочь пострадавшему соседу в беде: сжать жито, поставить на месте пепелища новую избу и т. д., и т. п. Да и в случае внешней опасности сподручней защищаться сообща.

При этом чужд был русский крестьянин пресловутому коллективизму. Объединяла и сплачивала его в единый организм только неминуемая опасность. А так он был абсолютно самостоятелен в своей жизни и работе. Он привык быть таким и в поле, и на подворье, и в избе, и на миру. Независимость проявлял и во мнениях, и в решениях, и в поступках. Советом дорожил, но чужого, тем более насильственного, вмешательства не терпел.

При этом подчинялся общинным порядкам, уступал частично свои права. Относилось это и к поднятой им самостоятельно «целине», которая должна была при очередном разделе земли перейти в общий земельный фонд. Добровольно соглашался и на круговую поруку, беря на себя ответственность за поведение других односельчан. Тем

самым он признавал неписаные правила поведения, которым следовали его предки и которыми должен был руководствоваться он.

Этические нормы труда и поведения, хранительницей которых была община, определяли еще один важный элемент существования — понимание возможности благосостояния не отдельного хозяина, а крестьянского сообщества, как отдельной общины, так и крестьянского мира в целом. Это в свое время хорошо подметил А.К. Хомяков. По словам Ю.Ф. Самарина, он «...дорожил сельскою общиной не только как самородным произведением народной жизни и как вернейшим средством застраховать право крестьян на землю от тех несчастных и неизбежных случайностей, которых бы не вынесли разобщенные личности, но еще более как нравственною средою, в которой лучшие черты народного характера спасались от заразительного влияния крепостного права. Эта мысль в одном из его писем выражена в следующих словах: "Чем более я всматриваюсь в крестьянский быт, тем более убеждаюсь, что мир для русского крестьянина есть как бы олицетворение его общественной совести, перед которою он выпрямляется духом; мир поддерживает в нем чувство свободы, сознание его нравственного достоинства, и все высокие побуждения, от которых мы ожидаем его возрождения. Можно бы написать легенду на следующую тему: "Русский человек, взятый порознь, не попадет в рай, а целой деревни нельзя не пустить"» (Самарин, 1860: 56-57).

...Жил крестьянин не только понятиями о стыде и совести, но исполнением своего *долга*. В чем он состоял? Может, лучше всего запечатлелось это в, казалось бы, незамысловатой крестьянской бывальщине: «Свернул как-то по нужде к мужику на двор чиновный барин. Слово за слово спрашивает:

— Как живешь, почтенный?

— Хорошо живу!

Барин руками развел.

— Пригляделся я, что-то не похоже...

Мужик вскинулся:

— Судите сами, господин хороший, я и долг отдаю, и в долг даю, и на ветер бросаю.

— Ну и ну...

Ничего не понял барин, смолчал и уехал.

После — какое-то время прошло, снова он той деревней проезжал. Вспомнил странные слова мужика. "Дай, — думает, — узнаю, о чем это таком он толковал, что мне не в разум".

Свернул к мужику — так и так, ответствуй.

А мужик посмеивается.

— Видишь, барин, родитель лежит на печи. Ему я долг отдаю, как взрастил, выкормил, на ноги меня поднял. Сын, гляди, растет, его кормлю в долг. А вот дочь родима. Ее питаю — на ветер бросаю. Сразу она отрезанный ломоть. В чужой дом после венца уйдет. Вот теперь и скажи — плохо ли живу?» (Еремеев, 1990: 228-229).

Подними детей, не оставь в старости родителей, не жалей сил на помощь ближним, тогда и будешь уходить в мир иной успокоенным и уверенным в том, что не напрасно свой век прожил. Как говаривал один старик: «Не скажу, что зажился, но, слава богу, — пожил! Сколько смог, поработал, хорошо земельку своим потом полил. Людей хлебушком покормил, дом построил, детей народил, дерев посадил — вроде все управил. А теперь и на покой пора. Не страшно!» (Еремеев, 1990: 235).

Именно так уходил из жизни любимый дедушка Астафьева, его заступник от бабушкиных строгостей, наставник и помощник в усвоении премудростей жизни. С болью рисовал Виктор Петрович, как «возле ворот, на бревне, вдавленном в землю, заеложенном задами, белея исподиной, сидел дедушка Илья. На плечи его наброшена старая шубенка, на ногах катанки, взблескивающие пятнами кожаных заплат. На голове ничего нету. Редко уж в прохладные вечера выползал он за ворота. Сидел неподвижно, забывая отвечать на поклоны проходивших мимо односельчан. Батога он в руки не брал, но курить не мог бросить, хотя у него “харчало в груди” и бабушка прятала кисет с табаком». Усталый от жизни человек, твердо знавший, что исполнил он свой долг перед Богом и людьми. «Отяжалел, износился в работе дед Илья Евграфович, — писал Астафьев. — Отбыв свой последний срок на земле, он еще сходил в баню, обмылся, надел чистое, лег на свой курятник, уснул и больше не проснулся. Тихую, без мучений, принял кончину дед. Он ее заслужил — единодушное было решение на селе» (Астафьев, 1978: 277, 305).

Крепили крестьянское единство не только устойчивая трудовая этика семьи, общинная взаимопомощь, но и *родственные связи*. Детей у русских землепашцев, как правило, было много. Бездетность вообще считалась божьим наказанием, а значит, полнились изба, двор и сельская улица ребячьим шумом и гамом, и был едва ли не каждый второй или третий среди ребятни двоюродным(ой) или троюродным(ой) братом или сестрой. По сельским обычаям и правилам — ближайшим родственником. А что уж говорить о родных братьях и сестрах? Случалось, что они по разным причинам, став взрослыми, оженившись, покидали родное село, жили отдельно, но связи с родителями не теряли. Приводило детей в отчий дом почитание отца и матери, любовь и преклонение перед ними.

Один из самых проникновенных рассказов в «Последнем поклоне» — «Бабушкин праздник». Повествует Астафьев о праздновании именин «генерала», когда собирались все ее многочисленные сыновья и дочери с внуками и внучками. Предпраздничная суета, последние хлопоты перед застольем, детский галдеж, воспоминания, охи и вздохи — все мешалось в один общий хор единения и взаимопонимания. Бабушкой обставлялось, конечно, празднование по писаным и неписаным правилам праздника. Когда уже все накрыто и пора было садиться за стол, бабушка и дед «...с плохо скрываемым волнением стали приглашать гостей:

— Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал.

А дед сам себе в бороду:

— Проходите, будьте ласковы, проходите!..

Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз коренный бабушкой за то, что и людей он приветить не умеет и слова на них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца» (Астафьев, 1978: 213-214).

Но на этом страдания деда не заканчивались. Когда казалось, что пора бы и начинать, бабушка куда-то исчезла, и все сидели, томительно ждали. «Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то и определился под божницу, на свое место.

— Вечно выламывается!»

А бабушка добилась своего. Дождалась, когда ее двое старших сыновей встали и провели мать в передний угол:

«— Мама, тебе почет и место!

Бабушка знала, как трудно даются речи этим пятидесятилетним робятам, и на большее не рассчитывала. Скромно так, застенчиво она опускала глаза и дрогнула губами.

— Спасибо, дети мои, спасибо за уважение.

Мимоходом она сразила деда взглядом за то, что нарушает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз» (Астафьев, 1978: 215).

А дальше — хлебосольный семейный праздник, венцом которого становилась застольная песня, где запевалой выступала бабушка. Я не могу передать своими словами переполнявшие автора чувства и поэтому передаю слово Виктору Петровичу, заранее извиняясь за, может, и длинную, но, на мой взгляд, такую важную цитату:

«Бабушка запела стоя, негромко, чуть хрипловато и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженней становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь густела и останавливалась в жилах...

Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, а бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.

Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все уверенней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде,

из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет никогда» (Астафьев, 1978: 217-218).

...Говорят, что в песне живет душа народа. Я, грешный, еще помню те времена, когда, выезжая в поле и возвращаясь назад с работы на грузовых машинах, приспособленных для перевозки людей, пели женщины песни... Как это было давно. Нет уже тех тружеников и тружениц. Да и настоящая народная песня почти исчезла — и не только с экранов телевизоров и программ радиопередач...

Старался жить русский мужик в ладу не только в семье и роде, но и с *миром природы*. Для Астафьева природа — не декоративный фон его повествования, а среда обитания, без которой невозможно представить крестьянскую жизнь. Лес, река, поле неотделимы от его героев и от него самого. Без знания окружающей среды и без любви к ней невозможно выжить. Зато и сама природа отплатит сторицей за бережное отношение к ней. Грибы и ягоды, дичина и знаменитая енисейская рыба — все идет впрок. Но ничего не берет крестьянин сверх меры. Разве что мальцам еще позволено зорить птичьи гнезда, да и то вспоминается это взрослыми мужиками — дядями Астафьева — как глупое и никчемное баловство несмышленышей.

Обучались крестьянские дети жизни в природе сызмальства. Привыкали к ее жестким нормам и требованиям, одно из которых состояло в ее знании и понимании. Именно в такой последовательности и взаимозависимости. Поэтому нет ничего странного в том, что с малых лет ребенок узнавал местные названия растений, грибов, ягод, повадки зверья, рыб и птиц. Рассказы Астафьева пестрят разными названиями, описаниями леса, реки, их населяющих животных. Одно их перечисление дает представление о богатстве леса и многообразии его растительности. Здесь и «камнеломка», и «повилика», и «дедушкины кудри», подснежники, саранки, краснодневник. Астафьев всегда документально точен в своих описаниях. Так, маслята у него желтеют своими шляпками, а «рыхлые рыжики» краснеют, краснотал багровеет. Это, уж не говоря о «близких» человеку по его каждодневному обиходу, — конопле, крапиве, лебеде (Астафьев, 1978: 23, 76, 85, 26).

Астафьев-ребенок поэтизирует, конечно же, по-деревенски, воспроизводя слышанное от бабушки и других взрослых, название деревьев. Так, шипица у него — «...дерево ханское, платье у него шаманское, цветы ангельские, когти дьявольские...» (Астафьев, 1978: 27).

Особая статья в рассказах Астафьева — животные в крестьянском мире. Они — члены семьи, помощники и друзья в труде и беде. Они будто те же люди, только не умеющие говорить, но умеющие слушать, понимать и отвечать добром на добро[3].

3. Удивительно точное наблюдение писателя, подтверждаемое и современной наукой. По наблюдениям английских ученых, «...одно лишь только ласковое обращение фермеров с коровами увеличивает их продуктивность в среднем на 300 кг молока в год» (Никольский, 1991: 15-16).

Характерны многие события, отпечатленные в цепкой детской памяти. Вот внук вместе с дедушкой возвращается в село с тяжело нагруженным возом сена. Молодой, еще не втянувшийся в работу конь с трудом тянет телегу. А впереди еще глубокий лог, который ему явно не осилить. Дед выпрягает молодого помощника. Сам впрягается в оглобли и вытягивает поклажу наверх и, выполнив тяжкую работу, несловоохотливый и скупой на разговор, бросает внуку: «Гляди, в селе не вякай». Характерно поведение втянутого в круговорот труда крестьянина и реакция крестьянского внука — кивок головой. По-иному и быть не может. Конь — свой, его и пожалеть надо: крестьянин и животное навечно повязаны общей судьбиной, в которой бывает всякое: и горькое, и смешное, все вперемежку.

С каким упоением вспоминали собравшиеся на именины бабушки дяди Астафьева «уросливого» коня Карьку, наводившего страх на всех домашних и даже укусившего смирного Васю. А тот, обозлившись, в ответ сам укусил Карьку к вящему удивлению коня, который после этого «...лишь Васю к себе и подпускал, а больше никого за людей не считал...» (Астафьев, 1978: 206).

Отношение к лошади — трепетно доверительное, а для малых детей и настороженное. Это хотя и домашнее, но животное со своим норовом и особинкой. Берут, скажем, еще малых ребят Витю и Алешку поить лошадей, тут особый порядок, свой устав и меры предосторожности: вот дядя Николай (Кольча-младший) дает Виктору кобылу Лысуху. «Я подвожу ее к заплоту, — писал Астафьев, — взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу — шалишь, кобыла, не тут-то было» (Астафьев, 1978: 38).

А вот еще история с шалопутной и хитрой псиной Шариком, чистокровной дворнягой, который был многократно трепан сельскими охотничьими псами и спасаем бабушкой. Никакие испытания не изменили его характера. Он остался все тем же пустобрехом, любившим гонять кур, выклянчивать молоко и обязательно справлять малую нужду на стоявший в избе веник, чем приводил бабушку в неописуемую ярость, после чего предусмотрительно пережидал грозившую расправу в укромном месте и не откликался на бабушкины «ласковые увещевания» предстать пред ее грозные очи. Но именно этот пес помог выжить в голодный и страшный год, стал, по словам той же бабушки, ангелом-хранителем семьи.

...Крестьянин всегда знал, понимал, любил природу и был в ней не завоевателем, а ее составной частью, как и сама природа была неотделима от его существования.

Я бы покривил против истины, если бы не написал еще об одном важном элементе становления личности крестьянского ребенка. Воспитывали в детстве не только семья, уклад труда и быта, родные и близкие, природа. Воспитывала и *сельская улица*, на кото-

рой вилась голоштанная поросль, особенно в летнюю пору, с утра до вечера. Общалась ребятня между собой и играла в разные игры: в бабки, в чижа, в лапту, в свайку, в прятки. Все эти игры не только требовали силы, ловкости, терпения, но были, как отмечал Астафьев, «...предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть не обожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предваряющим» (Астафьев, 1978: 228, 229).

В играх формировалась атмосфера взаимоотношений, начиная с детского возраста и заканчивая взрослым бытием. «Деревенская жизнь вся на виду, никуда не скроешься», а если учесть, что, как правило, проживал свою жизнь человек в одном селе, то помнились сверстникам его прегрешения до седых волос. И в общем-то прощались, но осадок оставался и горчил. Скажем, не дай бог, прикарманивал кто-то выставленные на кону бабки. В следующий раз получал он от ворот поворот в игре, даже если и приносил ранее украденное. «Тяжела, сурова мужицкая справедливость — наказав мошенника презрением, усовестив словами, порой и до слез доведя, со скрипом и недовольством стойкие игроки наконец-то разрешали:

— Ладно, ставь! Но штабы...» (Астафьев, 1978: 243).

Или же, если вдруг в самый разгар игры в лапту владелец мяча неожиданно уходил с ним, никто не бежал за предателем, не упрашивал вернуться. «Хрена! Давно соску не сосем! Мы — мужики, пусть и в игре, но мужики, и суд наш молчалив, а приговор суров: не брать хлюзду в игру!» (Астафьев, 1978: 261). Вот такие мужские разговоры и неизбывное чувство товарищества, которое с годами не забывается и не черствеет.

Так воспитывались и закалялись характеры. И воспитание было суровое, мужское, не прощавшее слабости, а тем более предательства. Как вспоминал Астафьев, была у его сверстников игра в кол, когда перед началом игры все участники забивали его в землю, а голящий должен был его из земли вытянуть голыми руками без помощи подручных средств. За это время все участники игры должны были спрятаться. Вытащить кол было далеко не простым делом. Но далеко не просто было и найти спрятавшихся игроков, которые, когда голящий отходил от кола, снова начинали его вбивать в землю. Такая игра могла продолжаться не один день, пока голящий не побеждал. Так случилось, что заболел Витя Астафьев, не отголившись.

Друзья заболевшего, по его словам, «...навещали..., приносили гостинцы, с крестьянской обстоятельностью желали скорее поправляться, чтобы отголиться, иначе не будет мне прохода, должником жить на селе не полагается, из должника не выйдет и хозяина-мужика.

И когда мне в жизни становилось и становится невмоготу, я вспоминаю игру в кол и, стиснув зубы, одолеваю беду или преграду, но все же с облегчением заканчиваю я рассказ об этой игре — очень уж схожа давняя потеха с современной жизнью, в которой голишь, голишь, да так до самой смерти, видать, и не отголишься» (Астафьев, 1978: 255).

Но из таких игр вырастали многие человеческие качества, в том числе и «...смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью» (Астафьев, 1978: 161). Да только слишком быстро проходит крестьянское детство. Рано становится сельский паренек мужчиной. И только остается в памяти горько-сладкое послевкусие счастья. Как писал Астафьев, «теперь-то я знаю: самые счастливые игры — недоигранные, самая чистая любовь — недолюбленная, самые лучшие песни — недопетые...» (Астафьев, 1978: 283).

Образа и образы

В «Последнем поклоне» Астафьев выписал сохраненные детской памятью лица и лики близких, любимых людей, без которых его жизнь была невозможна, пуста и безрадостна. И первый в их ряду образ мамы, которую Виктор Петрович не помнил, но о ней рассказывала бабушка «...всякий раз с прибавлением не только слез, но и черт маминого характера, привычек, поступков, и облик мамы с годами все более высветлялся в памяти бабушки, и оттого во мне, — писал Астафьев, — он свят, и хотя я понимаю, что облик моей мамы, вторично рожденный бабушкиной виной перед рано погибшей дочерью и моей тоской по маме, едва ли сходится с обликом простой, работящей крестьянки, мама была и теперь уже навеки останется для меня самым прекрасным, самым чистым человеком, даже не человеком, а обожествленным образом» (Астафьев, 1978: 293). Светлый облик самого родного человека согревал Астафьева, дарил хоть какую-то надежду с обращением к имени матери в минуту гибельных испытаний.

Светел и свят для Астафьева и образ бабушки, напускавшей на себя строгость, но беззаветно любившей внука. Именно к ней, уже битый жизнью, израненный на войне, спешил демобилизованный солдат Астафьев, будто предчувствуя, что эта встреча будет последней. Не отпустит его на похороны бабушки начальник, заявивший, что:

«— Не положено. Мать или отца — другое дело, а бабушек, дедушек да кумовей...

Откуда знать он мог, — писал Астафьев, — что бабушка была для меня отцом и матерью — всем, что есть на этом свете дорогого для меня! Мне надо бы было послать того начальника куда следует, бросить работу, продать последние штаны и сапоги да поспешить на похороны бабушки, а я не сделал этого.

Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня. Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон» (Астафьев, 1978: 637).

С течением прожитых лет, удаляясь и стираясь в деталях, только более величественным и значимым становился для Астафьева облик деда. И виделся он ему в том далеком детском далеке «...в вы-

пущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во время похода, сделавшего передышку — остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом» (Астафьев, 1978: 101).

Рядом с образами мамы, дедушки и бабушки вывел Астафьев портреты близких ему людей — многочисленных родственников: дядьев, теток, двоюродных-троюродных братьев и сестер, хороших знакомых, соседей, друзей и соперников по детским играм. Все они крестьянского замеса, но каждый на свою особину, со своим характером, норовом, повадками.

Взять хотя бы соседа дядю Левонтия, которому «...хоть Бог, хоть царь, хоть какая власть — нипочем...», особливо когда он выпьет. «К тому же дядя Левонтий меня любит, — примечал Витя Астафьев, — так же, как я его, и он село в щепки разнесет, в случае чего...». Или родной брат его, бабушкин крестник дядя Филипп, судовой механик, крепкого посола мужик, не боявшийся никакого труда, «нибилизованный» крушить самураев в «дальневосточном конфликте» и погибший «...в сорок втором под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников». В числе запоминающихся персонажей — и удалая деревенская душа Мишка Коршуков, отчества которого Астафьев даже не знал и который «...погиб в войну на истребительном военном катере». «Мне не надо гадать, — писал Виктор Петрович, — как он погиб, такие люди и умирают лихо, со звоном, и не об этом я думаю, печалясь, а вот о чем: сколько удали, душевной красоты, любви к людям убыло и недостает в мире оттого, что не стало в нем Мишки Коршукова» (Астафьев, 1978: 121, 137, 251).

И эта печаль об ушедших и ушедшем пронизывает всю повесть Астафьева.

Вместо итогов

Можно сказать, что само название повести символично. «Последний поклон» — это не только долг памяти перед родными и близкими, в первую очередь перед бабушкой Екатериной Петровной. Эта повесть — прощание с тем счастливым миром, в котором вырастал и мужал автор, и благодарность тому миру. Мир крестьянства с его хозяйственной сосредоточенностью, трудовой этикой жизни и поведения, призрением и защитой слабых, неброским проявлением любви и заботы уже, увы, канул в прошлое. Нет крестьянства в старинном понимании этого слова, как нет и того народа, который в своих действиях, помыслах и надеждах руководствовался, казалось бы, незыблемыми нормами и правилами. Но ничто не исчезает совсем и навсегда. Остаются память и традиция, которые, как правило, важнее непродуманных новаций и рискованных реформ.

Библиография

Астафьев В.П. (1978). Последний поклон. Повесть. М.: Современник.
Еремеев П. (1990). Обиход. Былички. М.: Современник.
Никольский С.А. (1991). Земледелие и крестьянство как природно-историческое явление // Вопросы философии. № 2. С. 13–24.
Самарин Ю.Ф. (1860). Хомяков и крестьянский вопрос. В память об А.С. Хомякове // Русская беседа. Т. 2, кн. 20. С. 55–60.

‘Last greetings’ from V.P. Astafiev and foundations of the peasant world

Vasily V. Zverev, DSc (History), Leading Researcher, Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences. 117292, Moscow, Dmitry Ulyanov St., 19. E-mail: v.v.zverev@bk.ru

The article considers the novel “Last Greetings” by V.P. Astafiev as a historical source of descriptions of the peasant world. The author emphasizes such basic categories of the peasant life as traditional family, kinship ties, working, parenting, attitudes to nature, concepts of shame, conscience, and duty. Based on this literary material, the author concludes that the peasant worldview is a result of close interaction with nature, which determined both respect for the environment — forest, field, river, animals — and such qualities as moderate consumption of natural resources, diligence, foresight, concern for the future. Knowledge and understanding of nature also affected labor that did not pursue enrichment but aimed at ensuring the family’s prosperity. The villager in Russia, as everywhere in the world, was not a money-grubber, and his social ideal was a hard-working and sober middle peasant. The system of upbringing and the social structure of the village (community) aimed at developing and preserving these qualities. The community structure was primarily to prevent such disasters as crop failure, famine, flood, fire, and their catastrophic consequences. The centuries-old history of life in nature and with nature has cultivated mutual assistance, mutual support, and the charity of the sick, poor, and injured. The author concludes that such a social order was the foundation of the social unity in the past, which in turn influenced the strength and power of the Russian state.

Key words: peasant, city, phenomenon of ‘village writers’, traditional family, man and nature, kinship ties, labor, shame, conscience, duty, Russian community, childhood, village street

References

Astafiev V.P. (1978) *Posledny poklon. Povest* [Last Greetings. Novel], Moscow: Sovremennik.
Eremeev P. (1990) *Obikhod. Bylichki* [Everyday Life. Small Epics], Moscow: Sovremennik.
Nikolsky S.A. (1991) Zemledelie i krestyanstvo kak prirodno-istoricheskoe yavlenie [Farming and peasantry as a natural-historical phenomenon], *Voprosy filosofii*, no 2, pp. 13–24.
Samarin Yu.F. (1860) Khomyakov i krestyansky vopros. V pamyat ob A.S. Khomyakove [Khomyakov and the peasant question. In memory of A.S. Khomyakov], *Russkaya beseda*, vol. 2, book 2, pp. 55–60.